Елена КРИШТОФ

ПЕРЕДЕЛКИНСКИЕ РАССКАЗЫ

ГРУСТНАЯ НОЧЬ В ПЕРЕДЕЛКИНЕ

Дело происходило в начале восьмидесятых. Мы сидели в «красном уголке», на сквозняке, что дул по ногам в нижнем фойе. В тесном пространстве, ограниченном лестницей и двумя стенами. Кто-то играл в шахматы, Арсений Александрович Тарковский попыхивал трубкой, наблюдая игру. Вдруг его зовут к телефону. Говорил он недолго, вернее молчал, слушая какое-то сообщение. Вернулся к нам озабоченным. Ну, мало ли что ему могли там сказать, мало ли откуда звонили...

Но как-то слишком глубоко после этого звонка он ушел в себя. И лицо его выражало недоумение. Грустным, даже потерянным оно стало. Не знаю, заметил ли это кто-нибудь, кроме меня. Мне же казалось: Арсению Александровичу не хочется оставаться наедине с услышанным. Вот он сидит, рассматривает ладони, вот пытается снова вникнуть в то, что происходит на шахматной доске. Все — напрасно. Мысли: заняты невеселым и удивившим: конечно, удивившим, ведь он и головой раза два качнул в недоумении. Но, наконец, он заговорил:

— Позвонили, сказали: хотят выдвинуть меня на соискание Государственной премии. Все равно ведь не выдвинут, и тем более не дадут. Зачем только было звонить? Сколько раз мне уже что-нибудь обещали, и, представьте, я верил.

— А потом?

— А потом обнаруживались особые заслуги у других.

Это мы с ним обменялись фразами. Что же касается окружающих, то они бойко принялись поздравлять его, как будто речь шла о чем-то уже решенном, будто они не видели опущенного, вовсе не повеселевшего лица Арсения Александровича. Он все вроде бы рассматривал свои руки и к оживленно обсуждающему народу не присоединялся. Тогда ему стали говорить:

— Ну не дадут премии, так выдвинут, и то хорошо. Больше печатать станут.

— Там, кажется, гонорары полагаются другие, если выдвинут? Все-таки — хлеб.

— А кто решает? И на какой стадии вопрос?

— Арсений Александрович, от вас теперь многое зависит. Надо...

Что «надо», договорено не было. Тарковский встал и медленно побрел по длинному коридору в сторону своей комнаты. Другого слова, кроме «побрел», я подобрать не могу. Палка стучала еще глуше, чем всегда.

Дальше мы говорили между собой. Больше о том, что надо бороться. Некоторые — о том, что во всех этих что-то решающих комитетах рука

руку моет, а у Тарковского, увы, там нет никого. Все наше оживление, Бог его знает, возможно, наигранное, вызванное желанием подбодрить, улетучилось.

Я ушла из «красного уголка». Пошла по коридору, потом по длинному и холодному стеклянному переходу. Уже у лестницы меня как будто что-то кольнуло: а кто там, в «стекляшке» сидит, возле погасшего телевизора? Я вернулась, проходя мимо, взглянула: Тарковский сидел.

Приблизиться к нему было немыслимо, надо было, но — немыслимо. Что бы я стала делать? Сочувствовать? Жалеть? Убеждать, что есть надежда? Или еще лучше: уговаривать бороться?

Холодно было в «стекляшке», прямо льдисто. Голое, лунное и недоброе за ее стенами не то обступало, не то втягивало в себя, подчеркивая беззащитность... не этого конкретного человека с руками, сложенными на палке, а какую-то всеобщую беззащитность тех, кто просто живет, не зная секретов хитрого, ненадежного мира.

Кому же открываются эти секреты? И каково на вкус и цвет счастье? Странно, должно быть, звучит мое утверждение, но, по-моему, Тарковский думал о том же. И мысли его были безнадежны, потому что весь секрет заключался всего-навсего в том, чтоб гибко умела пригибаться спина, а взгляд снизу вверх поднимался в полной преданности. Он никогда так не умел смотреть и просить не умел. ...Из всех своих существенных просьб он помнил одну. Буквально погибая в калужском госпитале, где санитары, врачи, сестры пили, а раненые ползали по соломе, он написал десять писем десяти влиятельным членам Союза писателей. В письмах была одна просьба: помочь ему перебраться в московский госпиталь. Откликнулся только Фадеев, помог. Остальных, несмотря на едкий соблазн, он никогда не спрашивал, получили ли они его письма. Поэтому у них оставалась завидная возможность делать вид, что ничего не произошло. А если этот довольно удачливый переводчик с восточных подстрочников на них дуется — его дело. Характер всегда был с ядом. А сейчас, когда ему выше колена отрезали ногу, и, следовательно, пропала вся его мужская привлекательность, что и спрашивать?

Я не думаю, что Влиятельным приписываю мысли, их не посещавшие. Во всяком случае, где-то близко должны были бродить оправдания, какие они сами себе искали. И всегда, как щит, во весь свой удручающий рост вставала фраза: «А что я мог сделать?». К этой же фразе обратятся те, кто сегодня, то есть в начале восьмидесятых, так неосторожно позвонил ему насчет Государственной премии.

Что он теперь чувствовал в темноте «стекляшки», глядя на черную синеву луж, на гниющие под окнами отрепья листьев? А ведь именно это выхватывается из пространства в минуты тоски. И о чем думал? Являлся ли ему непрошенный список всех «умельцев», которые получали премии в дни его молодости и в нынешние, столь обильные подачками дни? Понимал ли, что премия уже ничего не изменит в жизни? Лишние деньги не прибавят ни сил, ни веры. А читают его и так все больше и больше, и каждый спешит его этим обрадовать. Но и в самой радости — в сердце все равно

покалывает иголка: если бы десять, двадцать, тридцать лет назад... Вспоминает ли он себя молодым, таким, какого и я вспоминала, вернувшись в «красный уголок»? Передо мною стояло его лицо на фотографии в книге «Земле — земное». Оно могло показаться даже излишне красивым, если бы не было таким горьким. И выражение его было как бы после сегодняшнего телефонного разговора.

...Однако в холодной «стекляшке» сидел не сорокалетний скептик, с чувством некоторого превосходства наблюдающий суету, поддавки, лицемерие времени. В «стекляшке» сидел старик. У него круглилась спина и подбородок был жестко прижат к рукам, опирающимся на палку.

Живешь — как по лесу идешь:
Лицом угодишь в паутину.
Легка и липка, невтерпеж,
Сорвать бы ее, как личину,
Да сразу ее не сорвешь.

Как будто разумная злоба
Готовила пряжу свою.
И чуждое нам до озноба
Есть в этом воздушном клею.

На щеки налипла обида,
Оболган стоишь на краю.
Теперь улыбнись хоть для вида,
Хоть слово промолви со зла.
Куда там! слезами не выдай,
Что губы обида свела...

Не эти ли строки приходили ему в голову в ту грустную ночь? Не перебирал ли обиды прошедшие и еще ожидавшие впереди? Или я ему приписываю свои чувства, а он был просто зол? Или просто ушел от каких бы то ни было обсуждений своей поэтической судьбы?

В ту ночь я долго не могла заснуть и занималась для утешения подсчетом всех многочисленных вызовов, какие Арсений Александрович Тарковский бросал окружающим. Или вернее — времени? В самом деле, когда у нас еще не прошел синдром «винтика», возможно ли вынести столько раз повторенное в его стихах слово гордыня? Да еще если учесть, в компании с кем, так же обуянным гордыней, он себя чувствовал? Цветаеву, Ахматову наделял он этим, наверное, не очень-то легким чувством. Гордыня ведь совсем не то, что гордость. Гордость, я допускаю, может быть даже умиротворяющей. А гордыня — отклик на обиду. Гордыня — чувство терпкое, едкое, лучше бы без нее, да куда денешься?

...Стояла глубокая ночь. Замолк уже во всех комнатах сверчковый стрекот пишущих машинок. И возле мертвого телевизора в «стекляшке» никто не сидел. А я все не могла заснуть. Чужая досада почти осязаемо присутствовала в комнате. Я как бы даже слышала рядом перехваченное завистью

дыхание Влиятельных: ну, изд*А*ли два-три-четыре тоненьких сборника, в конце концов — старейший переводчик, участник войны, пострадавший: ходит на протезе, скрипит, так почему не издать? Но шум к чему? К чему эта выдумка с Государственной премией? Я не только голоса, произносившие доводы, слышала. Я видела их сановные лица, с губами, расползшимися в пол-лица из-за привычной, незатруднительной лжи. Неуютно им становилось почти из-за каждой страницы его бедных сборников. Чего стоило, к примеру, безумное утверждение:

Грядущее свершается сейчас,
И если я приподнимаю руку,
Все пять лучей останутся у вас…

Или другие, столь же категоричные: «И я клянусь тебе, что княжил над судьбой», «Я век себе по росту подбирал». Как бы ни так! Влиятельные всех мастей и достоинств отлично знали, что это они конструировали время. А он чуть не в те же дни объявил себя сверчком. Но притом заявил:

Ты не слышишь меня, голос мой, как часы за стеной,
А прислушайся только — и я поведу за собой...

Он и сейчас, по их мнению, оставался не более чем сверчком, и никакая Государственная премия ему не грозила. При этом забывалась такая мелочь: Сверчок — было арзамасское прозвище Пушкина.

Естественно, никакой премии и в начале восьмидесятых Тарковский не получил. Но случился краткий миг в нашей истории. Те дни, когда мы поверили, что можно построить социализм «с человеческим лицом». И в этот миг Арсения Александровича Тарковского выдвинули на Государственную премию. А диплом (или как это называется) вручался уже вдове его Татьяне Алексеевне Тарковской-Озерской.

СУДЬБА ПОЭТА

Был он лучше многих — человек сильный и изначально талантливый. Истинная мера вещей ему тоже была доступна. Однажды в моем присутствии он объяснял ученой даме, что Арсений Александрович Тарковский пятерых академиков стоит. Своеобразное взвешивание достоинств — ну, Бог с ним.

Многое в этом человеке я могла понять, кроме его соревнования с Байроном, Мольером и Пушкиным. Его поэма о Дон-Жуане, на мой взгляд, была до удивления бездарна. Так, нанизывание строчек... Зато напечатана в «Роман-газете». Издание это славится тем, что редко дает промашку, выбирая самое примитивное.

...Итак, в результате неумеренных, хотя и привычных, возлияний герой наш рухнул в баре, и в мертвецком состоянии был свален в углу верхнего фойе. О чем его собутыльниками и было доложено громко и неуважительно жене героя.

— Боже мой, — буквально возопила она, — я же нашей барменше каждый месяц подарки делаю, чтоб только она ему спиртное не отпускала! Что ж теперь?

Длинный путь пришлось бы проделать, пронизывая наш старый корпус, чтоб водворить его в комнату во втором этаже, на противоположной части «дворянского гнезда», в те времена придерживающегося еще каких-то приличий.

— Как я его дотащу? В нем же больше ста килограммов... — Слезы не то, что потекли — зло брызнули у нее из глаз.

— Погодите, — сказала я с прежней уверенностью классного руководителя, — это легко организовать. Положим его на одеяло...

—И потащим вдвоем? Вы представляете картину?

—Я организую тех, кто тоже бывал в положении риз.

—Где вы их возьмете?

—В доме творчества? Да здесь каждый третий или пил или пьет... К тому же многие его любят, а иным будет лестно: советского классика тащат.

—Ну хорошо, только сделаем это после одиннадцати, когда все разойдутся от телевизора. Неудобно, стыдно. Нас скоро ни в один дом творчества пускать не будут. А эти, его нынешние, зачем они его угощали? Может быть, чтоб посмеяться?

—Может быть, но особого удовольствия мы этим умникам не доставим. Идемте организовывать рабочую силу.

Пока договаривались с мужиками, которые охотно пошли нам навстречу, пока обсуждали подробности эвакуации, прислушалась дежурная, наша сладкоголосая и улыбчивая Валентина Сергеевна:

— Вы на одеяле хотите? — спросила она. — А зачем? У нас же носилки есть. Стоят в медицинском кабинете.

— А он открыт?

— Пока открыт.

— Так мы их вынесем, спрячем где-нибудь возле вас.

Сказано — сделано. Четверо призванных мною спасателей, похоже, были даже довольны своей ролью. Все-таки развлечение, прорыв из сонного быта.

— Только, — взмолилась я, — не проговоритесь Арсению Александровичу, что я в этом деле принимала участие.

— Договорились.

Однако когда подошел срок действовать, обнаружилось, что носилок в этом месте, где их поставили, нет. Одновременно в длинном нашем коридоре раздался мерный звук палки и знакомое, всегда тревожащее поскрипывание неудачного протезаТарковского…

Помощники мои возились бестолково, сновали из двери в дверь, стараясь понять, куда делись носилки.

И тут спокойный голос спросил:

— Носилки ищете? Они за красной занавеской.

— Арсений Александрович, а зачем нам носилки? — спросила я со смехом. Хотелось узнать, до каких глубин известна ему наша тайна.

— Пьяного... — тут прозвучало имя, употребленное с уменьшительным, но вовсе не ласкательным суффиксом. — Пьяного из буфета нести.

— А как вы узнали? Я думала, удастся заморочить вам голову.

И — смех. Всем смешно. Отчего? Не только же от того, что так простодушно назван будто бы компрометирующий меня секрет. Может быть, от того, что теперь и он, настоящий, не простой советский, классик, принимает участие в кутерьме?

Жертву коварных друзей и собственной невоздержанности благополучно доставили в постель.

...Но вот почему он так страшно пил? Жена, бывало, говорила: для людей так естественно бороться *за* жизнь. Он же борется *против*. Иногда кажется: вполне сознательно подталкивает себя к могиле. Мне казалось то же самое. Грех ли на нем лежал? Сумел ли он раньше многих из нас трезво оценить время? Понял ли, к примеру, во что обошлось народу раскулачивание? Во сколько жизней? В какую потерю ориентиров? Осознал, может быть, как он сам в этой смене нормальных ценностей «наследил» своими придуманными поэмами?

Он был из сибирских мест, часто ездил на родину и любил, чтоб встреча была с помпой, с пикником на берегу реки, с тостами в честь знаменитого земляка, не из середняков. И уж тем более, не из бедноты. И сам, останься он крестьянином, стал бы удачливым, широким, вгрызающимся в землю Хозяином. Везде, на любой дороге ждал его фарт. И в свой поэтический дар он поверил. А чтоб больше власти и благ, из которых, кроме водки и почета щекочущего, ему, кажется, ничего и не было нужно, — определился в чиновники. В те самые пресловутые секретари. Как известно, они печатали, сколько хотели не только свою секретарскую прозу, но и секретарскую поэзию. А сказать: «пяти академиков стоит» — это совсем не то, что уступить очередь в плане издательства, где в каждом кресле сидит свой человек. И совершенно всерьез определяет, каким тиражом издавать Арсения Тарковского, а каким, скажем, Василия Федорова. Который гораздо больше нужен народу. Тиражи Федорова, опять-таки к примеру, раз в двадцать превосходили тиражи Тарковского. Даже избранное уже выходило, полное, почти полное...

Только почему он так стремился к краю пропасти? Впрочем, это вызывает во мне уважение... Так и вижу его, огромного, с красно-лиловым лицом, которое когда-то было красивым, как у молодого разбойника. И в плечах широк, и нос рулем, и копна всклокоченных русых, не до конца поседевших волос...

Умер он довольно скоро после случая с носилками. И слава его ушла вслед за ним, свернулась в трубочку, как пожухлый лист. Читатели любят живых, гремящих, стоящих у руля. Читают, почитают и как бы чувствуют себя в строю за такой широкой спиной. А он, рыжий такой, кудлатый, идет впереди, несет знамя...

Симферополь.1994.